

АНРИ-ИРЕНЕ МАРРУ

Бергсон и история¹

1

Под этим названием можно было бы предложить читателю две совсем разные статьи, между которыми мне пришлось делать выбор. Во-первых, я мог провести критический обзор суждений самого Бергсона по поводу истории или работы историка. В «Двух источниках», среди прочего в последней главе, содержится много идей об истории Цивилизации, в том числе о законе дихотомии или развития в форме пучка, законе чередующейся одержимости, об уязвимости чересчур больших обществ, возможной остановке технического прогресса и пр. Здесь имеется целый ряд гипотез, заслуживающих систематического исследования: насколько мне известно, такие попытки пока еще не предпринимались. Значит, слишком рано оценивать значимость этих суждений, а потому я предпочел выбрать вторую возможность.

Она состоит в исследовании того, каким было влияние бергсоновской мысли, взятой в целом, на наше понимание истории, ее значения и роли в культуре и в жизни. Плодотворность великой философии не ограничивается лишь теми ее приложениями, которые формулируются самим автором: она допускает (должна допускать) целый ряд транспозиций, или, точнее, усовершенствований и обогащений. Всякая философская революция, если она действительно глубока, непременно сказывается на теории истории, ибо последняя есть не что иное, как частный случай познания человека: всякое изменение перспективы в области теории познания и антропологии напрямую затрагивает ее.

Значит, неважно, что бергсоновская мысль вначале формулирует-ся применительно к проблемам, поставленным в сфере психологии

¹ Публикуется по: «Henri Bergson. Essais et témoignages inédits recueillis par A. Béguin et P. Thévenaz». Neuchâtel, 1943. P. 205–213. Статья подписана «Анри Давенсон» — это псевдоним А.-И. Марру. — *Прим. пер.*

и биологии: ее воздействие очень быстро достигло собственно области истории. Метафизика длительности, бергсоновская философия сразу же заняла место в самом центре проблем, существенных для историка: проблем времени, памяти, свободы... Достаточно назвать три имени, чтобы показать, что ее влияние на французскую историческую мысль в последние тридцать лет было реальным, глубоким и продолжительным: это Пеги («Клио» и «Дополнительная заметка», 1914), Андре Шамсон («Человек против истории», 1927), Реймон Арон («Введение в философию истории», 1938). Конечно, было бы слишком сложной задачей пытаться определить сферу этого влияния, тем более размытую, чем более глубоким и обширным оно было. Дабы не выйти за рамки простой заметки, я выскажу здесь лишь свое собственное мнение о том, чем французский историк, усвоивший уроки Бергсона, может быть обязан этому влиянию.

2

Всякое рассуждение о данном предмете, ведущееся по-французски, характеризуется принципиальной двусмысленностью — опасной и вместе с тем продуктивной, — какую обретает в нашем языке слово и само понятие «История». Во французской мысли отсутствует различие, аналогичное различию между *storia* и *storiografia*, проводимому итальянскими гегельянцами, и между *Geschichte* и *Historie* в немецком языке. Для нас История (*Histoire*) — это, с одной стороны, прошлое человечества, т. е. человеческая реальность, подчиненная времени, а с другой — требующее больших усилий знание о ней, которое дает наша гадательная и не имеющая прочных оснований наука. Эта фундаментальная и неизбежная двусмысленность объясняет, почему бергсоновская революция (это слово, часто употреблявшееся Пеги, не является слишком сильным) вначале предстала как поворот к антиисторической философии, освобождающей человека от рабства у истории, и лишь потом была воспринята как освобождение самого историка.

Завершавшийся XIX век переживал, под двояким влиянием идеализма и позитивизма, настоящую инфляцию исторических ценностей. Запад кичился своим неуклонно расширявшимся познанием все более далекого прошлого. «Историческое чувство» охотно превращали в одно из характерных свойств европейской культуры, удивляясь тому, что иная ментальность весьма неплохо переносила отсутствие подобного чувства. То, что японец, к примеру, мог датировать стихотворение или картину таким-то годом эпохи Хэйан или эпохи Токугава, не соотнося эту дату с непрерывной осью отсчета, казалось чертой квази-дологической ментальности.

Но мало-помалу такая спесь начала тяготить ученых: это прошлое, слишком хорошо известное, в конце концов сделалось тираном настоящего. Оно прочерчивало в памяти ученых линию столь определенную,

столь характерную, что они считали себя вправе, ценой минимальной экстраполяции, продолжить ее вперед: будущее предвосхищалось, было дано заранее. Отсюда, к примеру, роль в политической мысли «уроков истории», таких понятий, как «исконный враг», «традиционная миссия» и пр. Перегруженное воспоминаниями, человечество чувствовало себя старым: если бы его существование, как полагал один мыслитель, делилось на три стадии², то мы бы уже достигли третьей. Человечество, любили повторять, состоит больше из мертвых, чем живых; история, не зная меры, воскрешала этих мертвых, и порой их присутствие становилось обременительным...

Явился Бергсон, и его отважная критика разоблачила иллюзию: прошлое, от имени которого историографы изрекали свои непреложные истины, было всего лишь апостериорной реконструкцией, безусловно правомерной, если соотнести ее с практическими целями действующего интеллекта, но отнюдь не тождественной реальности как таковой. Время, измерявшееся хронологией, время исторических повествований и хроник, поделенное на тысячелетия и века, как прямолинейный путь делится на километры и гектометры, — не что иное как опространствованное, метафорическое время, непрерывность и однородность которого носят искусственный характер. Нет оснований смешивать это время историографов, «профессоров истории», с реальной длительностью, прожитой людьми до нас, а затем и нами, длительностью гораздо более гибкой, богатой, сложной, чем время, измеряемое астрономическими часами.

Это противопоставление длительности интеллектуализированному времени Бергсон провел в психологическом плане, применительно к индивидуальному сознанию. Но начиная с Пеги оно стало естественным образом прилагаться к исторической длительности, длительности народов и человечества: перечитайте последние страницы «Клио».

Результаты этой «бергсоновской революции» не заставили себя ждать. Символические репрезентации искусственно реконструированного времени не должны управлять реальной жизнью, действием человека, его творческим усилием. Бергсон повсюду выявлял губительные последствия привычки, утраты гибкости: разве не было формой косности злоупотребление историей, подчинение готовому, уже виденному? «Мы не верим в фатальность в истории. Нет такого препятствия, которого достаточно напряженные воли не могли бы сломать, если возьмутся за это вовремя», — напишет Бергсон в 1932 г.³ Почему? Потому, что «будущее не есть лишь то, что позже станет прошлым» (Пеги), а «прошлое, с каким имеет дело историк, было будущим для государственного деятеля» (Арон). Будущее не записано заранее, линия движения может

² Имеется в виду О. Конт. — *Прим. пер.*

³ Бергсон А. Два источника морали и религии. М.: Канон, 1994. С. 318. — *Прим. пер.*

в любой момент изогнуться: будущее перед нами, оно открыто, и сделать его другим способна наша воля.

Бергсоновская мысль — философия свободы, которая выдвигала на первый план «становящееся» вопреки «готовому» и порывала с детерминистской фатальностью, — была с восторгом принята ее сторонниками как весть об освобождении, залог молодости и радости. Разрушая оковы, парализовавшие человеческое действие, она дарила свободному человеку неизведанное будущее.

3

Понятно, почему могло сложиться впечатление, что Бергсон освобождает человека от истории. Но если профессору истории эта революция грозила утратой места официального педагога, признанного авгура земного града, то историку, избавленному от столь тягостной ответственности, она тоже несла освобождение — более ясное осознание того, что составляет своеобразие и значимость его работы.

Подчеркнем это особо: если исторический фатализм истинен, то история теряет всякое собственное значение, превращаясь в регистрирующий аппарат, который показывает, что всё произошло так, как должно было произойти: она становится только орудием верификации. Воспользуемся примером, приведенным Пеги в «Дополнительной заметке»: «...если бы Иисус пророчествовал при помощи автоматической, механической, строго выверенной дедукции <...>, если бы *жизнь* Иисуса была всего лишь механическим выполнением и даже плановым завершением пророчеств, мы не нуждались бы в Евангелиях, да и сам Иисус в них не нуждался бы»⁴.

Но коль скоро история непредвидима, коль скоро она представляет собой чистое фонтанирование, а жизнь человека, существующего в реальной длительности, есть событие неожиданное, то терпеливая работа историка получает тем самым свое оправдание (здесь мы переходим от *Geschichte* к *Historie*!): историк открывает в прошлом, обнаруживает путем ретроспекции нечто такое, что имеет оригинальную ценность, чего могло бы и не быть, но что, оказывается, существовало. Мы обязаны Бергсону постижением глубокого смысла той радикальной случайности, в которой состоит своеобразие нашей работы.

Скажем еще точнее: не только настоящее не детерминировано прошлым, но, наоборот, прошлое напрямую зависит от настоящего. Историк проходит в обратную сторону путь творческой эволюции. Возьмем бергсоновский анализ жизненного порыва: проследив его в обратном

⁴ Этот пример гораздо более злободневен сегодня, чем при жизни Пеги: тем временем «историки», как раз и видевшие в Иисусе не что иное, как неуклонную реализацию пророчеств, заметили, что его жизнь не имеет тогда оснований, и вполне логично всерьез усомнились в его реальности...

порядке, от конца к началу, мы получим точное описание работы историка, аналогичное тому, какое дает ей Реймон Арон. Именно потому что прошлое стало настоящим, в котором мы живем, мы можем ретроспективно прояснить его становление; развитие в форме пучка, или снопа, бросает свой отсвет на малейшее исходное событие. Тот факт, что св. Августин стал епископом Гиппона, объясняет нам, что произошло в душе риторика-платоника, крещенного св. Амбруазом в Милане. Случившееся «после» всегда позволяет воссоздать и помыслить то, что было «до».

4

Итак, История есть, с одной стороны, место события, всегда неожиданного и случайного; с другой стороны, история (с маленькой буквы: историография!) — это усилие ретроспекции, связанное с душой сегодняшнего историка. Из этого двойного урока проистекает отрадный образ исторической работы: она является не воскрешением мертвого прошлого, а живым опытом, в который историк вовлекает свое призвание и судьбу. Если такой опыт есть нечто большее, нежели пустое любопытство (всегда существовали и будут существовать тщеславные умы, стремящиеся удовлетворить свое желание знать прошлое как таковое: то-то случилось там-то), он обогащает наш внутренний мир. Например, история учений уже не будет ни простым перечнем заблуждений человеческого разума, ни коллекцией окаменелостей, позволяющей реконструировать генеалогию *нашей* истины; она будет возрождением ценностей, которые без нее были бы забыты, встречей в настоящем, в конкретном настоящем нашей душевной жизни, с великими мыслями, с мэтрами, которых мы любим, как любим своих друзей: подобно дружбе, история — это Встреча с Другим.

Есть, наконец, последняя черта, делающая бергсонизм дисциплиной, полезной для историка. Сам Бергсон часто определял свое учение как философию Реального, опасаясь пороков рациональной конструкции, добавляемой задним числом: эта особенность, которую его противники охотно называли антиинтеллектуализмом, лишь выражала ощущение ускользающего изобилия, живой гибкости конкретного, неподвластного всегда ограниченному геометрическим схемам.

По сути, историк охотится за реальным, и его конкретное знание человека принадлежит к области бергсоновской реальности, где встречаются не столько правильные многоугольники, сколько трансцендентные кривые... Но в силу свойственного дискурсивному интеллекту стремления — его неустанно разоблачал Бергсон — выйти за пределы своей законной области, историк всегда будет впадать в искушение легковесного утешительного идеализма, который дерзко подменяет рациональной, искусственной, но завершенной и определенной схемой сложную, неопределенную, неисчерпаемую историческую реальность, изгоняя из нее то, что внушает тревогу. Но какой ценой! Реаль-

ное проскользнуло сквозь петли сети, и в ней осталось лишь иллюзорное знание.

Я не стану составлять здесь обширный мартиролог таких теорий: это философии истории романтического идеализма, стремившиеся заранее поместить знание прошлого в предписанные ими рамки; гипотезы особого рода, которые практиковали ту же редукцию исторической реальности к гипотетическому субстрату: Бергсон жил достаточно долго, чтобы увидеть, как сменяли друг друга, завоевывая благосклонность ученых, эти великие простаки — сравнительная мифология в духе Макса Мюллера, утилитаризм, социологизм, марксизм, психоанализ — и уже, увы! расизм... Здесь не место, разумеется, напоминать о критике, которую вызывает каждая из этих идеалистических гипотез: их неизбежный успех или, если выражаться языком Бергсона, «простота употребления» достаточны для того, чтобы подорвать их авторитет. Я просто хочу здесь подчеркнуть, что они упраздняют оригинальную ценность исторического открытия, сводя историю к бесплодному и надоевшему труду по демонтажу и верификации. Отсюда — польза противоядия: историк, воспитанный в духе бергсонизма, сможет лучше, чем какой-либо другой, остерегаться этого неотступного миража и бдительно хранить то, что составляет своеобразие, подлинность, полноту настоящей Встречи с Другим.

Перевод И. Блауберг